

Гасан Гусейнов

Шок невозвратности

1990 год отложился в моей памяти совсем не таким, каким я "снова увидел его" 16 лет спустя. Восстановленный в сознании чтением множества документов, мемуарных записей, публикаций дневников, стихотворений, написанных тогда разными поэтами в разных городах, он - другой, как и всякий другой год. Но он и тогда воспринимался как рубеж. 1990-му предстояло стать предпоследним (и последним полным) годом существования СССР и России в прежних границах. В первом номере "Московских новостей" от 7 января были опубликованы прогнозы на предстоящий год - они сопровождались аналитическими материалами. Мой прогноз начинался так: "Попробуем сказать сначала о самом неприятном - о дезинтеграции самой большой по территории страны современного мира. Приметы процесса - массовые национальные движения, сопровождаемые насилием, наметившаяся национальная дифференциация в КПСС..." С одной стороны, кажется, все правильно: не прошло и двух лет, как Советский Союз перестал существовать. Но стыдно за нелепую формулировку: "приметами процесса дезинтеграции" я назвал единственную историческую реальность - реальное межчеловеческое насилие, а государство, наоборот, бессознательно наделил свойствами личности. Эта незаметная ошибка сознания мне сегодня кажется ключевой. Именно к ней, в конечном счете, восходит, по-моему, и тот разрыв связей между активными и пассивными группами населения, да и внутри экспертного сообщества, плоды которого пожинаются сегодня, в конце 2006-го.

На том же развороте "Московских новостей" еще два материала: интервью Аркадия Вольского и заметка Галины Старовойтовой о положении в Нагорном Карабахе и состоянии армяно-азербайджанского конфликта. Нашу дружбу с Галиной укрепляла общая убежденность: население любых национальных образований правомочно определять свою судьбу - государственный строй, а также форму зависимости от кого бы то ни было. В данном случае речь шла о праве армянского большинства Нагорного Карабаха на самоопределение вплоть до выхода из состава Азербайджана.

Наши разногласия носили, казалось бы, академический характер. Г.В. Старовойтова считала, что гражданское общество выстроится из нации, понимаемой как этнос, добившийся собственной государственности. Мне казалось (я думаю, что могу сказать - нам: в 1988-1990 годах мы обдумывали эти сюжеты вместе с Денисом Драгунским и - как раз к 1990 году - выпустили с ним книгу, которая растворилась в событиях, ею же и проговоренных), так вот нам казалось, что это утопия: гражданское общество зиждется не на национальных, а на универсальных ценностях. Но в повестку дня совсем скоро ворвется лозунг "суверенитета России", и даже простое сомнение, а

сумеет ли само это национальное государство, встающее из руин империи, отменить старое национальное насилие и не усугубится ли таким образом насилие структурное, такое сомнение попросту отметалось.

Важно, конечно, прежде всего, понять, кем отметалось, вернее сказать - кто отметал эти сомнения. Не говорю сейчас о тех, кто всегда готов заявить: "А я ведь вон когда еще предупреждал, что ничего не изменится!" - или: "А, все всегда остается по-старому". Речь и не о тех, кто понял глубину обновления только тогда, когда другие рискнули извлечь из перемен уже более недостижимый для менее расторопного большинства профит. Речь пойдет о двух категориях людей, принадлежавших к разным общественным прослойкам, но одинаково энергично отозвавшихся на неожиданное послабление режима. Объединяющим для обеих категорий было только одно: они не стали тратить время и силы на толкование происходившего, а отнеслись к нему - иногда и на старости лет - впервые в жизни! - как к ими же формируемой новой реальности.

При этом одна категория занималась конкретной реорганизацией отношений собственности, созданием фактов жизни и новой социальной среды. Так, беря под контроль СМИ, некоторые вчерашние диссиденты уже видели ресурс политического переустройства в предпринимательстве (тогда оно еще называлось "кооперативным движением"). Противники советской системы, имевшие опыт относительно открытого противостояния ей, не питали иллюзий относительно способности Советов перестроиться. Вот почему они были (на первый взгляд - парадоксально) гораздо жестче настроены против Горбачева и либеральных партийцев, чем против хозяйственников и бюрократии на местах.

Другая категория, в основном - представители либеральной интеллигенции, видела свою задачу в реорганизации личных отношений с системой, в перерисовывании картины мира. Люди этой, второй категории пытались перейти в новую реальность вместе со знакомой социальной средой. Они полагали, что относительно мирное переустройство системы возможно: ведь был же опыт социалистического благополучия в Югославии. Мало кто представлял себе, к каким последствиям приведет эту страну избрание в 1990 году президентом Слободана Милошевича.

Разумеется, существовала и зона пересечения, в которую попали оказавшиеся, так сказать, в обоих списках: они закладывали новые образовательные институции, создавали СМИ и концерны. Деятели складывающейся новой политической системы в 1990 году еще не знали, кому из них предстоит быть убитым в начинающемся десятилетии, но они уже лепили будущее по собственному усмотрению.

Последние запомнившиеся встречи в редакции журнала "Век XX и мир" (и неподалеку от нее) в самом начале 1990 года были у меня с Галиной Старовойтовой (1946-1998), Глебом Павловским (р. 1951) и Михаилом Яковлевичем Гефтером (1918-1995). Каждая биография неповторима. Но я попробую сопоставить не сами биографии, а лишь биографические траектории, видимые социальные роли, а не философско-политические воззрения. Окажется ли сопоставление этих неповторимых траекторий из произвольно выбранной точки сколько-нибудь полезным для лучшего понимания социальной ситуации 2006-2007 годов, не знаю. Лично мне оно необходимо для уяснения собственных ошибок в оценке политического и социального содержания происходившего тогда.

Для М. Гефтера и Г. Павловского в "новой оттепели" не было ничего принципиально нового. Более того, Гефтер переживал своеобразное "дежавю" и безуспешно настраивал на новую реальность собственную оптику хрущевского времени, вполне музейные окуляры европейского переустройства после Второй мировой войны, а также некие новые инструменты, предлагавшиеся Павловским. Несколько позднее, в 1992 году, Гефтер приедет ненадолго в Бремен, где я тогда работал, и я от него узнаю, что в конце 1980-х ошибался, считая Гефтера ведущим, а Глеба - ведомым в их интеллектуально-политическом тандеме. На уровне историософского созерцания - возможно. Но в отношении политической практики - точно нет.

Одесские СИДы - "субъекты исторической деятельности" - группа, сложившаяся в начале 1970-х вокруг Павловского. Сам факт ее существования в подгнивающем после "оттепели" Советском Союзе был для Гефтера политической поддержкой. Более того, Павловский утолил потребность Гефтера в создании школы, некоего think tank, каким за четверть века до того, в 1960-х, чуть было не стал Институт всеобщей истории АН СССР. И наконец, главное: именно Павловский дал эклектичной исторической концепции Гефтера последнее оправдание. Это была не абстрактная историософия, а практическое моделирование возможного будущего политического поведения.

В 1990 году я этого не видел, а диалоги Павловского и Гефтера о Ленине считал довольно беззубыми. То, как именно Гефтер и Павловский переносили на позднесоветскую реальность некоторые политические комбинации конца XIX - начала XX века, казалось мне и вовсе откровенно скучным. Между тем, сейчас я вижу, что Гефтер оказался едва ли не единственным (во всяком случае, одним из совсем немногих), кто сумел понять ленинизм как достойную изучения и все еще эффективную политическую теорию. В недавно опубликованном в "НЛЮ" письме М.Л. Гаспарова 1992 года говорится: "Для меня одним из самых запомнившихся случаев последнего месяца было пятиминутное телевизионное выступление М. Гефтера,

историка-диссидента, кажется, печатавшегося в Европе больше, чем в России. Оно было в составе обзора событий за ту неделю, на которую пришлась очередная годовщина рождения Ленина. И Гефтер, старенький, маленький, в пледе, очень сильно и веско сказал в телеаппарат, что обливать злобой человека, о котором в 1920-х годах большие люди и нимало не коммунисты говорили, что такой, как он, поворот истории совершил разве что Иисус Христос, - это не лучший способ сводить счеты с историей"<sup>1</sup>.

Как и поколение Гефтера, люди 1940-1950-х годов рождения совершенно точно знали, что это их последний исторический шанс. И не по возрасту, а потому, что чувствовали: в таком текущем состоянии, как в конце 1980-х, общество может пробыть совсем недолго. А когда оно остынет и застынет, то лучше остаться в горячей точке, в точке влияния. К тому же для Старовойтовой этот шанс и был первым, а вот для Павловского - вторым. Первой "личной перестройкой" для него было противостояние советской системе за пятнадцать лет до интересующего нас года. Он узнал систему с той стороны, которая меньше всего проявлялась в конце 1980-х - начале 1990-х годов. У Павловского был и опыт столкновения с карательной системой КГБ, и опыт относительного примирения с нею. Вот почему в конце 1980-х он мог считать себя, если угодно, победителем. Победителем компромисса. Старовойтова же начала постигать советскую систему в реальном масштабе времени, делая политику прямо "с колес". Этот разрыв в опыте и определил разность избранных ими стратегий.

По-разному оценив социальное содержание происходившего, Старовойтова и Павловский в 1990 году говорили одними словами, вроде бы, об одной стране. Но события следующего десятилетия покажут, что все - от географических очертаний до популяционных выкладок - было у них разное. Старовойтова приняла происходящее за живое и реальное массовое социальное движение, ее вдохновили стотысячные московские стояния 1989 года, не говоря уже о национально-освободительных движениях, которые позволили академическому ученому на пике карьеры увидеть, как зыбкий и рассыпающийся на тысячи подробностей "этнос" полевого этнографа срастается в огнедышащее тело. И она решила, что говорить с этим телом можно поверх голов его старого хозяина. Поняв бесперспективность навязывания себя номенклатуре в качестве эксперта, Старовойтова предпочла сама стать политиком. Она быстро оказалась одним из неформальных лидеров и в бывшей союзной республике - Армении, и в младшей столице СССР и России - Ленинграде-Петербурге.

Мы встретились летом 1991 года на питерской конференции по правам меньшинств. На периферии бывшего СССР уже шла гражданская война, и Старовойтова уходила из науки в политику. Осваивая искусство компромисса, она опиралась на понятную социальную базу "Демократической России", но принуждена была взаимодействовать и с аппаратными кланами, органически

враждебными общественности.

В 1990 году в фокусе общественного внимания была борьба "за Горбачева" как за центр власти между "прогрессивным" и "народным" Ельциным и "консервативными" и "партийно-гэбэшными" Лигачевыми и Гидасповыми. Общественность, на которую опиралась Старовойтова, не видела, что Ельцин и его команда также не обойдутся без советской инфраструктуры, что, в конечном счете, определяющую роль в режиме первого президента России будут играть не представители гражданского общества, а сложный конгломерат из сотрудников КГБ и новобогачей из партийно-комсомольского молодняка. Но в 1990 году Старовойтову и людей ее круга вдохновляла перспектива роста гражданского общества.

Павловский, я думаю, был тогда, скорее, ошеломлен как раз инертностью и косностью этого самого "народного тела" перед вызовом времени. Думаю, не без влияния Симона Кордонского, он увидел жизнеспособную и активную среду совсем не в той народной массе, которая никогда не просила свободы у Горбачева и на которую ставила Старовойтова. Он увидел, что в тектонических трещинах СССР начисто отсутствует материал для построения нового государства. Всего через год Павловский назовет своего антигероя "беловежским человеком" - зомбированного полудемократа, полуконсерватора, который бездумно повторяет дармовые лозунги "распада империи", не догадываясь (вот уж где подходит просторечное "не догоняя!") о последствиях.

Инициативная среда, которая, как надеялся Павловский, в состоянии будет "переломить ситуацию", найдется к концу 1990-х годов, но совсем не там, где ее пыталась искать Старовойтова. Если говорить о 1990 годе языком наших дискуссий 1999-2000 годов, то Галина рассчитывала на социальную поддержку своих демократических политических амбиций, Глеб же сомневался, можно ли вообще из "беловежских людей" как политически малограмотной "слизи" (термин из дискуссии на интернет-форуме [polit.ru](http://polit.ru)) собрать новый народ для новой страны. Пожалуй, после размежевания по этому пункту обе биографические траектории прошли точку возврата к режиму "круглого стола". Старовойтова была уверена, что в СССР уже нужно заниматься политикой, а ради политической свободы можно принести в жертву старые исторические конструкции.

Павловскому претила мысль о превращении России в нормальную страну. Оглядываясь назад, я вижу, как нарастает его разочарование как раз в тех деятелях последнего года "перестройки", которые ради универсальной ценности свободы были готовы пожертвовать историческими ценностями "русского мира". Конспирологом, или буйным адептом теории заговора, Павловский

никогда не был. Но с начала 1990-х годов его начнет привлекать мысль о собственном великом заговоре. О заговоре с целью сохранения истории и даже империи. Поскольку идеология суверенитета, которую в России понимают немного в духе Карла Шмитта, непосредственно выросла из событий 1990 года, следовало бы остановиться на этом несколько дольше.

Предельно упрощая, можно сказать, что "коллективная Старовойтова" (при поддержке либерально-демократического сегмента населения) поставила на фантом гражданского общества и проиграла, а "коллективный Павловский" примкнул к энергичным "активистам-государственникам" в администрации, правительстве и СМИ и добился тактического успеха. О том, на каких путях добивалось своего тактического успеха государство, афористичнее всех сказал в уже цитированной переписке М.Л. Гаспаров: "Правительство переменяло курс с "создания мелкой буржуазии" на создание "крупной буржуазии"". Вопрос о цене этого успеха я сейчас не рассматриваю.

СМИ 1990-х годов гораздо больше занимались оргструктурами, чем происходившим в головах людей. Отчасти это связано с самой возможностью создавать нечто новое - от кооперативов до товарно-сырьевых бирж, превращая профтехучилища в лицеи или восстанавливая на месте бассейна "Москва" разрушенный в 1934 году храм Христа Спасителя. А вот исследованиями ВЦИОМ позднесоветские СМИ пользовались как мартышка очками. Стоит вспомнить, например, как слабо СМИ 1990 года откликнулись на тему люстрации, поддакивая официальной позиции. Группа Юрия Александровича Левады как раз накануне 1990 года начала работу над проектом "человек советский". В 2004 году Ю.А. Левада расскажет (в публичной лекции на [polit.ru](http://polit.ru)):

Оказалось, что это наивно, и когда мы в 1989 году разбирали первое исследование, уже тогда было ясно, что так дело не происходит, потому что порывы, которые овладели многими, в том числе и участниками нашего проекта, нуждаются в более холодном взгляде. Что мы постоянно упираемся в незримую стенку - стенку режима, который был, стенку тогдашних традиций и стенку, связанную с тогдашними людьми. Получалось, что уже как будто можно, а не идет. Можно будто бы быть свободным, все вокруг призывают к свободе, а свободы особой не получается. Получалась некоторая кооперативная блажь, первый приступ рынка со всеми своими смешными и любопытными сторонами. А вот нового человека, как существа сознательного и умного, не было видно. Скорее, как только человека освободили, он бросился назад, даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным, он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского...2

И это понятно. На поверхность общественного внимания всплыли в это время такие факты, к

осмыслению которых в реальном масштабе времени общество готово не было. Поэтому оно и не успело воспользоваться кратковременной растерянностью и относительной беспомощностью карательного аппарата и вообще партийно-гэбистских структур. Это было тем более невозможно, что исконно демократическая позднесоветская прослойка истончилась. Ведь Брежнев, Черненко, Андропов, Бобков попросту раздавили в 1970-1980-е годы правозащитное движение. Людей, доказавших свою политическую зрелость тем, например, что отсидели за свои убеждения в тюрьме, что вообще думали об альтернативах развития СССР, было исчезающе мало в разрешенном, отпущенном на свободу "демократическом сообществе". А вот представителей так называемых компетентных органов в этой среде было как раз много. Своей единственной прямой задачи - сохранения безопасности государства, которому они присягали, - эти люди не исполнили. Но в 1990 году они уже были готовы примкнуть к любому побеждающему клану.

Вот почему расхищение советского госимущества прошло в таком головокружительном темпе и при столь слабом освещении СМИ. Это не следствие сознательного заговора, а лишь проявление сущности советского строя. Разве советское государство когда-нибудь предупреждало своих граждан заранее, например, о ликвидации их сбережений путем финансовой реформы - в 1947 или в 1961 годах? А тут объявлен свободный рынок. Реальные процедуры расхищения государственного имущества военными, партийно-комсомольскими чиновниками, ближе всего к этому имуществу стоявшими, были известны узкому кругу участников "бизнеса", которые охотились друг за другом, но в СМИ попадали лишь отголоски событий. Журналистов, осмелившихся чуть-чуть приоткрыть крышку этого механизма, отправляли на тот свет без особых церемоний.

Сегодня кажется, что малый гомеопатический террор, как ни цинично это звучит, спасал поздний Советский Союз и раннюю постсоветскую Россию от полномасштабной гражданской войны. На периферии Союза она и шла под маской так называемых "межэтнических столкновений" - армяно-азербайджанской войны вокруг Нагорного Карабаха, конфликтов в Приднестровье и в Центральной Азии. В контексте региональной истории это и в самом деле были межнациональные конфликты. Но в контексте истории России и СССР эти события были таким же элементом войны за советское наследство, как ввод советских танков в Баку и Вильнюс и прекращение поставок нефти в Литву весной 1990 года. Следуя типологии гражданских войн Ялте Тиназ, можно сказать, что роспуск СССР в 1991 году был прекращением начавшейся гражданской войны, которая развернулась между вооруженными подданными одного государства за перераспределение административных и политических ресурсов. В Югославии попытки руководства Сербии и Союза коммунистов силой остановить процесс распада федерации привели к нарастанию гражданской войны с последующим международным вмешательством и созданием на месте федерации нескольких самостоятельных государств.

И тут пора снова вернуться к биографическим траекториям протагонистов позднесоветской политической сцены на фоне начавшегося распада СССР. Как виделся им в 1990 году начавшийся раздел советского наследства? Безусловно - как часть глобальных событий. И в этом смысле как естественный процесс. При этом одни могли оценивать обмен "империя за свободу" как справедливый, другие - нет. Независимость стран Балтии, последовательное объявление "независимости от СССР" Российской Федерацией (8 и 12 июня), Узбекистаном (20 июня) и только месяц спустя - Украиной (16 июля) вставали в один ряд с такими глобальными актами национальногосударственного строительства и раскрепощения, как победа лидеров чернокожего большинства в Зимбабве и ЮАР или объединение Германии.

Не будем забывать, что мировая политика в советских СМИ занимала несравненно больше места, чем в 1990-е годы. В прогнозе на 1990 год, опубликованном "МН", никто не предвидел, что распад СССР произойдет столь стремительно. Теория заговора возникнет позже. "Шок невозвратности былого мироустройства", как назвал это Андрей Фадин (1953- 1997), станет вполне понятен большинству населения только три года спустя, когда политическую жизнь на обозримую перспективу подменят в России борьба внутри приельцинского административно-олигархического аппарата и противостояние с потенциальными младшими соперниками. Можно показать, как - то постепенно, то скачками (например, в 1993 году) - публичная политика становилась все менее, а подковерная борьба - все более эффективной. Но полностью политтехнология вытеснит собственно политику только к 1996 году, а в 1990 году это ключевое для середины 1990-х годов слово еще не вошло в обиход.

Инерция глобального значения страны как лидера переустройства всего остального мира смягчила в сознании людей "шок невозвратности". Нобелевская премия мира, врученная в 1990 году Михаилу Горбачеву, оказалась символом этого смягчения. Другими символическими актами, обозначившими линию размежевания позднесоветских демократов, стали избрание Слободана Милошевича последним президентом Югославии и Леха Валенсы - первым президентом независимой Польши. Если для "коллективной Старовойтовой" из-за фигуры главы новой свободной России должен был выглядеть европеец и католик Валенса, то для "коллективного Павловского" таким "выглядывающим" был социалист-националист Милошевич, последний герой сохранения Югославии - Австро-Венгерско-Оттоманской микроимперии.

Эта трещина расширилась к середине 1990-х годов, когда общество впервые должно было определиться с картиной мира. Чего вы хотите - политической и экономической свободы, пусть и ценой стремительного сокращения российского государства в нынешних границах, или государства, способного вернуть величие, пусть и ценой сокращения некоторых прав и свобод граждан? Адресатом вопроса в 1990 году были все "советские люди". В дальнейшем этот вопрос



превратился в часть закрытого обмена мнениями между аппаратом государственной власти и инициативниками-новобогачами. Альтернативой такой постановки вопроса была бы ускоренная политическая конвергенция с Западом Советского Союза в целом, к которой призывал Андрей Дмитриевич Сахаров. Но Сахаров не дождался до 1990 года ровно двух недель. А после войны в Югославии мотив потенциальной угрозы со стороны Запада снова вернется в русские споры о национальных интересах.

Видел ли я этот выбор в 1990 году? Пожалуй, не видел. Это, повторяю, лишь сопоставление траекторий политических биографий. Объединяет их не прихоть моей памяти, а некоторые фактические точки пересечения, которые зажглись подобно лампочкам на карте ГОЭЛРО, изготовленной для нужд школ второй ступени. Зажглись благодаря идее двух поколений редакции "НЛЮ" вообще заговорить о 1990 годе как о первой ступени распада империи.

Прилагаемая к этому номеру хроника хороша тем, что перечисляет не основные события 1990 года, а только то, о чем сообщали тогдашние СМИ. Сегодня очевидно, что сообщали эти СМИ отнюдь не о самом важном, то есть не о том, что в последующие полтора десятилетия будет определять жизнь распавшейся страны. Держа в голове рубрикации новостей в стандартных современных СМИ (политика - экономика и технология - финансы и сырьевые ресурсы - спорт - культура - недвижимость - светская жизнь - понемногу обо всем), нетрудно увидеть: позднесоветские СМИ почти не говорят о главном - о переделе собственности, о рынке оружия, о расхищении имущества Группы советских войск в Германии, средств, выделенных на обустройство бывших советских военных на территории СССР, о переводе на новые рельсы инфраструктуры насилия. В силу понятных причин отсутствует публичный анализ сращивания криминала с крупным бизнесом. Формирование национально-освободительных движений, например, на Северном Кавказе анализируется с точки зрения идеологии, но почти не обсуждается на уровне национальной экономики. Поэтому формой познания этих явлений оказывалась для властей открытая война с ними.

Все попытки экспертного сообщества в 1988-1989 годах докричаться до тогдашнего советского руководства были напрасны: основным способом "преодоления обострения обстановки", как называлось это на официальном языке, было "введение чрезвычайного положения". Вместо преодоления всякий раз получался новый виток "разжигания". Насилие оставалось не просто главным политическим инструментом советского руководства, но и постоянно обновляемым в головах пассивного большинства населения программным обеспечением. Органам государственной власти насилие вообще кажется познанием. Управляемость вверенного им социального тела они понимают как его податливость испускаемым государством сигналам. Это родовое свойство всякого аппарата, установка всякого чиновника. Вот почему демократия, при

всех очевидных недостатках и рисках дезорганизации, обязана ставить заслон на пути в законодательные органы (в думы, парламенты и рейхстаги) людям из аппаратов, отравленных технологией управления. Но СМИ 1990 года были заняты другими темами, проблема структурного насилия оказывалась в тени казавшегося иррациональным насилия этнического.

Главным элементом структурного насилия оставалось представление о суверенитете. Это лукавое понятие стоит в центре событий 1990 года и остается в повестке дня до сих пор - как задачка о квадратуре круга. Поразительно, что иностранное словечко "суверенитет" - настоящий агноним, или часто употребляемое слово с не вполне понятным значением, - как заноза сидит в голове правящего класса. Оно должно было бы выражать право самостоятельно распоряжаться собой и своей судьбой, но употребляется почти исключительно в значении "располагать правом распоряжаться чужими судьбами". Конечно, проблема осталась бы и в том случае, если бы носители языка каким-то чудом договорились не о суверенитете, а, скажем, о самоопределении. Ведь тогда надо было бы решить вопросы о том, кто же он, этот таинственный "сам", или что это за таинственное "само", которое "определяет себя". Настоящего "самого" и не было. Была пустая оболочка Союза ССР, представляемая космополитом и "лучшим другом немцев" Горбачевым, и была более знакомая и простонародно-приятная, но зато совершенно непрозрачная фигура Ельцина, представлявшего "демократическую Россию".

Хроника 1990 года свидетельствует: именно тогда, а не во время августовского путча 1991 года происходило смещение центра тяжести власти в России (тогда еще в РСФСР) от Горбачева к Ельцину. И происходило это смещение параллельно - на уровне аппарата, который своими подземными коридорами ушел от Президента СССР к Президенту России, и на уровне экономики, которая увидела в децентрализации и приватизации неупускаемый шанс. Сращение спецслужб и бизнеса, начавшееся уже в конце 1980-х годов и позднее явленное, например, в превращении бывшего замглавы КГБ и начальника 5-го управления по борьбе с диссидентами Ф.Д. Бобкова в начальника службы безопасности группы "Мост" В. Гусинского, вовсе не рассматривалось как политически значимое. Служба как служба. И все же политический контекст сращения КГБ и нарождающегося крупного бизнеса, сегодня различимый в событиях 1990 года, тогда виден не был, его людям "не показали". Когда СМИ России к середине 1990-х годов разглядели этот вектор развития их страны, было уже поздно.

Здесь пролегал еще один водораздел - между личной свободой человека и долгом гражданина перед внешнеположенной ему реальностью, пусть даже реальность эта формально юридически перестала существовать. Подобно приговору аятоллы Хомейни, так и не отменившего приказа убить Салмана Рушди, в общественной среде, где национальный суверенитет и его атрибуты ценятся выше личной свободы, продолжала действовать формула: "Если враг не сдается, его уничтожают".

В 1990 году, после Декларации о суверенитете России, государственники продолжали вести себя так, словно СССР все еще существует. А это значит, что, вызвавшись определять философию суверенитета, они принимают ответственность за повторение схемы распада СССР, но теперь уже в новых условиях. Целое десятилетие - с основными вехами в 1993, 1996 и 1999 годах - прошло в условиях идеологического сопротивления факту распада СССР и, тем самым, попыткам устранить несовпадение формальных границ Российской Федерации с теми границами России, которые простерлись "от тайги до британских морей".

Мотив "суверенитета" был ключевым и для тех, кто торопился перечитать недавнюю советскую историю через вновь открывшуюся оптику распадающейся империи. В статье "Сталинизм", написанной для "Словаря нового мышления" в 1989 году, Гефтер пишет о Сталине как наследнике Ленина, сумевшем истребить главных суверенов России - "суверена земли", крестьянство; "локальных суверенов власти", "функционеров постоктябрьского большевизма" (Бухарина и др.); "суверенов слова" (интеллигенцию)<sup>4</sup>. В этой схеме нет ничего оригинального, кроме, может быть, одного: условием существования России в прежних границах оказалась тотальная десоверенизация ее населения. Но ведь население и не просило суверенитета. Ни в 1990-м, ни в 2006 году.

Программное обеспечение, о котором я сказал выше, - это не метафора, а термин: набор команд, подталкивающий к определенному ходу мысли, которая потом сама организует некоторое действие. Насилие, особенно в форме профессионально совершенного убийства, то есть теракта, автоматически расставляет потенциальных жертв и потенциальных заказчиков (или возможных подражателей убийц) по своим местам. Первые, теряясь в догадках, успокаивают друг друга: "Попробуем понять только одно - кому же было выгодно это убийство?" Или: "Что же такого мог сказать или сделать убитый, что стало приговором?" Привычное насилие воспринимается притерпевшимся большинством как природная неизбежность, которой не может не быть, а публичный протест против которой бесполезен и опасен. Это настроение - идеальная почва для теракта. 9 сентября интересующего нас года неизвестные убили священника и богослова Александра Меня. Об этом событии СМИ говорили достаточно. Но политическим символом оно не стало, и рябь интеллигентского морализаторства улеглась без всяких последствий.

Тем временем потенциальный подозреваемый озабочен демонстрацией своей непричастности на основании единственного аргумента: "Да ведь мне этот теракт ну никак не выгоден. Ищите там, где сгрудились потенциальные жертвы, пошущукайтесь с ними".

Спонтанная готовность нанести и стерпеть социальное унижение любой силы тоже готовилась в 1990 году. В августе 1991 года всего нескольких тысяч мужественных людей предотвратят

массовую бойню в столице России. Гибель всего троих москвичей оказалась для общества достаточным политическим символом - жертвой, принесенной на алтарь свободы и правового государства. Но после 1993 года, а особенно к концу последнего десятилетия XX века, террор против личности и целых этносоциальных групп (в диапазоне от разорения Чечни до погрома выставки "Осторожно, религия!") мало-помалу станет нормальным и привычным социальным фоном: спонтанная готовность сносить унижения будет одним из российских потребительских стереотипов - маркой, под которой россияне известны сегодня во всем мире как самые бесстрашные туристы и безбашенные коммивояжеры.

Интересным "белым пятном" 1990 года является отсутствие в тогдашних СМИ дискурса "предательства" - ключевого для тех, кому распад СССР кажется величайшей катастрофой XX века<sup>5</sup>. Современники наблюдали совсем другую реальность, в которой сила обстоятельств свела в один год выход из тюрьмы Нельсона Манделы, объединение Германии и заявление Бориса Ельцина и парламента РСФСР о выходе России из состава СССР. Во всех этих делах обошлось, конечно, без заговора и заговорщиков, без предательства и предателей. В следующем десятилетии дискурс "предательства" станет популярным и превратится в универсальную отмычку для объяснения всех политических событий.

Отчасти это вызвано неспособностью тогдашних СМИ, даже в условиях относительной политической раскрепощенности 1990 года, выделить главный источник аппаратной угрозы чаемому демократическому устройству - советские спецслужбы. Это была роковая ошибка: ведь предательство и является человеческой основой деятельности спецслужб. Двойничество - альфа и омега этого типа личности, способной при определенном стечении обстоятельств нанести непоправимый ущерб любому обществу. Сегодня трудно сопоставить тогдашнюю концентрацию страха перед неконтролируемым массовым насилием с нынешней - перед насилием точно-диффузным. Главное, что вопросы, на которые Советский Союз должен был ответить в 1990 году, по-видимому, сохраняют свою силу для тех, кто предпочитает и 15 лет спустя игнорировать факт роспуска СССР. Независимо от того, в какой точке личной биографической траектории они находятся и какие сюжеты сегодня волнуют наши свободные СМИ.

---

1 "Читать меня подряд никому не интересно...":

Письма М.Л. Гаспарова к Марии-Луизе Ботт, 1981-2004 гг. / Подгот. текста и публ. М.-Л. Ботт // НЛО. 2006. № 77. С. 181.

2 <http://www.polit.ru/lectures/2004/04/15/levada.html>.

3 Tin Hjalte. The Typology of Civil Wars. Copenhagen: DUPI, 1997.

4 Гефтер М.Я. Из тех и этих лет. М.: Прогресс, 1991. С. 414-415.

5 Оставляю за скобками этот мотив во внутрипартийной дискуссии о предательстве идей коммунизма, например, в знаменитом письме "Не могу поступиться принципами" Нины Андреевой: здесь сообщалось о предательстве не самой Российской империи, а идеологической базы ее советской реинкарнации.